

А. В. ВДОВИЧЕНКО

МИФЫ ЕДИНСТВА “ЯЗЫКА” И ЯЗЫКОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО И РУССКИЙ МИР¹

В статье рассматривается понятие «язык» как инструмент формирования идентичности. Автор приводит доводы в пользу того, что понятие «язык» не эффективно для моделирования процесса естественного говорения/письма, и не может играть прежней доминирующей роли в формировании идентичности, понимаемой как осознанное и признанное неким сообществом единство. Рамочной идеей, способной охватить тенденции переосмысления «языка» в описательных схемах, выступает коммуникация и личное коммуникативное действие. Для вербальных фактов, составляющих естественное говорение/письмо, эти понятия задают единственно возможную систему, в которой вербальный материал может быть корректно интерпретирован и описан. В вопросах идентичности переосмысление (или даже упразднение в прежнем статусе) понятия «язык», признание его мнемотехнической, утилитарной, но не онтологической ценности, ведет к девальвации языкового фактора. Интерпретация эллинистических иудейских и раннехристианских (иудеохристианских) сочинений, к которым относят грекоязычные библейские тексты (Септуагинта и НЗ корпус), до последнего времени была сферой исключительной компетенции строго языкового подхода. Для более адекватного представления статуса этих текстов и языковой идентичности авторов и переводчиков в статье приведена аналогия с современным русскоязычным пространством. Подобно современным церковнославянским текстам, создаваемым в традиционных формах, тексты Септуагинты и НЗ были ориентированы на традиционное сообщество и воспринимались как эпические, архаизирующие, возвышенные, обособленные от прочих современных лингвистических практик. Статус этих текстов и соответствующая трактовка идентичности их авторов становятся возможны при коммуникативной интерпретации естественных вербальных фактов.

Ключевые слова: язык, фактор идентичности, коммуникативное действие, тексты Септуагинты и Нового Завета.

Язык как лингвистический объект и как традиционное именование единого инструмента общения нередко мыслится *фактором создания* (возникновения) *идентичности* в широком спектре научной гуманитарной и обыденной аргументации (языкознание, история, культурология, философия, социология, СМИ, художественная литература, обыденное общение и пр.). «Говорить на каком-то языке» часто означает (или понимается по умолчанию как) «мыслить специфически», «иметь особые практики», «принадлежать к уникальной культуре». Если предположить, что в хайдеггеровской метафоре «язык есть дом Бытия»² позицию подлежащего занимает конкретный язык (а сделать это весьма просто и даже необходимо в контексте рассуждений самого автора метафоры), то «образы Бытия» будут идентифицироваться и подсчитываться по числу

¹ Статья подготовлена при поддержке РФФИ, грант № 15-04-00560.

² Хайдеггер 1993. С. 192.

языков, соответствовать количеству существующих «домов». Говорящие на этих языках (они же «обитатели домов Бытия») помещаются, таким образом, в более или менее замкнутые резервации, очерченные их языковыми навыками. Между тем современное состояние лингвистического знания в некоторых своих версиях дает шанс на менее масштабный языковой сепаратизм. По крайней мере, фактор языка может не выглядеть столь безапелляционным и неотвратимым в деле формирования сознания носителей, воздвижения границ между лингвокультурными сообществами, создания анклавов «единомышленников», говорящих на одном «языке», по образцу «русского мира».

Де факто языки никогда не воздвигали непреодолимых преград между искренне желающими вступить в коммуникацию, но теоретически, своего рода *де юре*, им полагалось быть резервуарами «духа народа», «сокровищницами» знания и культуры этноса, выражением идеальной картины мира нации («языковая картина мира»), и вообще, как уже было замечено, «особняками бытия» для живущих в них (говорящих на них). На этих высоко патриотичных, однако, архаичных и пещерных, по сути, идеях паразитирует – открыто или подспудно – гомогенная им националистическая риторика, черпающая нерушимое доказательство единства нации в очевидном факте единого национального «языка» – дома, резервуара, сокровищницы, души, идеальной матрицы национального сознания. Миф о роли языка в формировании идентичности, как и любой предрассудок, следует, скорее, преодолевать и развенчивать, чем полагать в основание методологических схем, в т.ч. академически ориентированных описаний, достигая, тем самым, пущей авторитетности самого мифа и пущей шаткости конструкции гуманитарного знания.

Как более специализированные (лингвистические и лингвофилософские) рассуждения, так и менее тяжеловесные жанровые зарисовки позволяют утверждать, что *понятие «язык» не эффективно для моделирования процесса естественного говорения (письма)*, и не может играть прежней доминирующей роли в формировании идентичности, понимаемой как осознанное и признанное неким сообществом единство.

Рамочной идеей, способной охватить тенденции переосмысления «языка» в описательных схемах, выступает *коммуникация* и личное *коммуникативное действие*. Для вербальных фактов, составляющих естественное говорение/письмо, эти понятия задают единственно возможную систему, в которой вербальный материал может быть корректно интерпретирован и описан.

Вследствие тотальной вовлеченности в коммуникативные ситуации, естественный вербальный материал всегда и непременно существует в связанном, дискурсивном, состоянии. Элементы, выделяемые на различных уровнях анализа вербальной материи, имеют значение только как часть личного действия говорящего, который оказывает возмож-

ное, с его точки зрения, влияние на осмысленную ситуацию коммуникации. Иных источников смыслообразования, кроме сознания действующего коммуниканта, в материи слов не присутствует. В пространстве *мыслимой ситуации коммуникативного действия* говорящий (и затем следующий за ним интерпретант) выделяет объекты (дотоле не существовавшие *здесь и сейчас*, не выделенные из гомогенной панорамы, прежде не оформленные в «объект» и не развернутые в направлении данного коммуникативного действия), назначает связи, фиксирует внимание адресатов, подбирает вербальные клише, соизмеряя их с типологическими условиями их использования и возможными особенностями восприятия их адресатом, и пр. Конкретная коммуникативная синтагма, параметризованная говорящим, а затем интерпретатором, становится той единственной системой координат, в которой приобретают значение формальные элементы вербального процесса. В свою очередь, чтобы воссоздать значение изолированного элемента (способность слова «обозначать что-то» без «соединения или разъединения», согласно Аристотелю³), необходимо воссоздать некоторую известную интерпретатору коммуникативную синтагму, в которой возможно употребление данного элемента (фонетического/графического комплекса). Порождаются и понимаются не слова, а многофакторные *коммуникативные действия*.

Коммуникативный подход к вербальным фактам ведет к признанию теоретической неэффективности понятия «язык» для многих (зачастую принципиальных) эпизодов. Поскольку смыслообразование является единственной причиной говорения/письма, то именно его невозможно добиться от лингвистического материала, лишённого субъекта, т.е. безличного, не вовлеченного в конкретную коммуникативную синтагму «слова». Выбирая между формой и содержанием, теоретик вынуждается исходить из второго, поскольку смысл существует до внешнего коммуникативного действия, как его помысленный иллюкутивный эффект.

Место формального «языка» в дискурсивной модели вербального процесса занимает *коммуникативная типология*, известная участнику коммуникации из опытов реализации коммуникативных действий в аутентичном (родном) сообществе. Она же является источником для создаваемой (если это зачем-то необходимо) грамматической матрицы. Так, например, грамматическая «система лиц» строится на основе типологических позиций говорящего в коммуникативном пространстве и только поэтому встраивается в «систему языка» как ее «подсистема». В этом смысле говорящему «на родном языке» известен не «язык», а *типология коммуникативных синтагм, или ситуаций* (охватить которую *неаутентичному* участнику лингвокультурного сообщества помогает грамматика, представляющая собой неточный, но в ряде случаев удобный инструмент мнемотехники; напротив, *аутентичному* участнику

³ Аристотель 1978. т. 2. С. 93.

известны способы коммуникативного действия в сегментах лингвокультурного пространства, в т.ч. соответствующие вербальные модели реализации коммуникативных ситуаций, или клише, на основании которых потом и создается грамматическое – не нужное носителю языка – мнотехническое описание).

Представленные в современном состоянии лингвистического знания направления, часто эксплицируемые формулами «язык в сознании», «язык в тексте» и «язык в употреблении», каждое по-своему ведет к отрицанию самой абстракции «язык».

«*Язык в сознании*», в конечном счете, предполагает *несловесность* выражаемых коммуникантом значений. Мысль локализуется на стадии планирования действия, в т.ч. словесного высказывания. Кванты мыслительного процесса никоим образом не совпадают с автономными словами, которые, в свою очередь, никоим образом не соответствуют платонористотелевским «сущностям вещей» – ни «первым», ни «вторым». Сознание, которому вне коммуникации «язык» не нужен вовсе, назначает объекты и их связи, актуализованные в данный момент, т.е. другими словами, «сущности вещей» не сами по себе отражаются в «языке» и действуют в сознании, а попросту не существуют – не могут быть ни выделены, ни поименованы – до актуального мыслительного процесса. Оформление объектов и их множеств, разбиение на части или классы ранее выделенных объектов происходит в сознании по мере субъектной актуальности. Если результатом «мыслей» становится признание необходимости и возможности действовать в коммуникативном пространстве, коммуникант привлекает известные ему вербальные клише, которым он сам, а затем интерпретатор, приписывает значение, соответствующее мыслимой ситуации. Процесс смыслообразования, протекающий в сознании воспринимающего речь адресата, состоит в усвоении «внутренних состояний», или «мыслей» говорящего (пишущего), послуживших причиной и условиями данного действия.

Последовательное рассмотрение «*языка в тексте*», в конце концов, выводит за пределы вербального текста и отсылает к осознанной коммуникативной ситуации, мыслимой в каждый конкретный момент актуального говорения/письма. Текст, составленный из устных или написанных «предложений», представляет собой ряд действий, которые осуществляются в каждый раз заново осознанных меняющихся условиях. Этот ряд организован активным сознательным процессом, направленным на достижение результата коммуникации. Другими словами, место вербального текста, составленного из несамостоятельных элементов, занимает «связность» иного рода – мыслимая коммуникативная ситуация (дискурс), предлагающая собственные семантические и синтаксические параметры, посредством которых сознание интегрирует предметные вербальные элементы. Любая совокупность слов вне актуального действия оказывается обманчивой, поскольку никакой текст

(или произвольно избранный его отрезок) не может теоретизироваться как автономный количественный объект, вне принципов, введенных сознанием действующего коммуниканта.

В свою очередь, *«язык в употреблении»* вбирает все аутентичные условия естественного вербального процесса, среди которых со всей очевидностью *не находится места* «единому предметному инструменту говорения и понимания». Актуальный вербальный процесс (использование словесных моделей в целях (воз)действия) всегда реализуется как мыслимый (когнитивность), обусловленный воспринятыми обстоятельствами (ситуативность), необходимый говорящему (актуальность), предполагающий мыслимого адресата (коммуникативность), предназначенный к воздействию (акциональность). *Абстракция «язык» не в состоянии вместить ни одного из аутентичных свойств естественного коммуникативного процесса*, поскольку слово и, соответственно, словесный «язык», понимаемые по-платоновски и признаваемые самождественными теоретическими объектами, не оставляет никаких шансов коммуниканту, хотя именно он – один из немногих самоочевидных участников реального речевого процесса – задает собой все аутентичные признаки естественного вербального материала. Для концепции «языка» главным неудобством становится свобода говорящего, которую традиционная «языковая» теория фактически вынуждена отрицать, констатируя общий «инструмент» говорения/понимания. Парадоксальным образом в естественном вербальном процессе самождественным (понимаемым в единстве) оказывается субъективное содержание, а не объективная форма: первое, оставаясь одним и тем же, может быть выражено различными словами, различными способами, на разных языках и пр., в то время как вторая, не имея жесткой платоновской привязанности к «идеям», чтобы приобрести «значение», должна быть наделена субъектным содержанием и субъектно интерпретирована, т.е. сопряжена с говорящим и лично воспринятой ситуацией вербального действия.

Неэффективность абстракции «язык» ощущается особенно остро, когда замечается его внесубъектная бессмысленность, или отсутствие в нем (самом по себе) каких-либо актуальных значений. Комбинаторика элементов, описываемая грамматикой и словарем как всеобщие правила «языка», не выражает ничьих «мыслей», интенций, «ментальности», «духа», или каких-то когнитивных состояний, которые свойственны любому естественному говорению. Только проекция на коммуникативную ситуацию, которая воспринята лично и в которой реализуется личное действие, позволяет осуществить процедуру смыслообразования — со стороны адресанта и адресата. Личное спроецированное на ситуацию действие составляет единственный интерес как самого коммуниканта, так и любого интерпретатора, прямого или косвенного. Любой предметный элемент «языка», лишенный аутентичных условий, в которых он использован (или может быть использован) в личном действии, пре-

вращается в нечто иное, отличное от *актуального* употребления данного элемента. Так, «пришел, увидел, победил» (как и любая из частей этого высказывания) не значит ничего до помещения в актуальную ситуацию (непонятно *кто, где, когда, зачем* сказано и пр.). На фоне того, что «язык» (т.е. оторванные от конкретной коммуникативной почвы «грамматика и словарь») традиционно считался носителем выражаемых значений, его реальная внесубъектная пустота выглядит главным изобличающим свидетельством. Если «частицы» вербальной материи рассматриваются «сами по себе», вне личной актуальной коммуникативной синтагмы, то «свойствами» этой материи на различных уровнях анализа становится нетождественность, хаотичность, бессмысленность⁴.

В вопросах идентичности переосмысление (или даже упразднение в прежнем статусе) понятия «язык», признание его мнемотехнической, утилитарной, но не онтологической ценности, ведет к девальвации языкового фактора. Так, тем, кто говорит на одном «языке», нельзя на этом основании приписывать единые идеи, базовые ценности или эмоции. Употребление одних и тех же слов не обязательно означает присутствия одних и тех же «концептов» в сознании, и наоборот, – употребление различных слов не означает обязательного присутствия различных «концептов». Форматирование сознания вербальными «отпечатками» (формирование «языковой картины мира») нельзя считать объективной данностью, несмотря на объективность («телесность» и определенность) вербальных форм. Границы сообществ (в т.ч. этнических) независимы от имеющихся языковых навыков. «Сокровищницы народного духа» с тем же основанием могут быть сочтены собранием народных заблуждений и предрассудков. Процессы понимания коммуникантов осуществляются в тождестве на основании мыслимых практик, далеких от исключительной вербальности. Ценность самого «языка» (в т.ч. стремление к сохранению мнимо-самоценных вербальных форм) не имеет под собой достаточных (бытийственных) оснований. Истинная ценность, скорее, содержится в стремлении к коммуникации и позитивному взаимодействию, в котором вербальные формы сами по себе глубоко вторичны и утилитарны, и в котором понимаются не слова, а целостные коммуникативные действия. Интерпретация форм бескачественного языка помещается в перспективу межличностного взаимодействия, становится более свободной от детерминирующей систематики, более независимой от обманчивого единообразия вербальных форм. Хайдеггеровская метафора значительно корректируется и приобретает форму: «Осознанное бытие есть дом вербальной (и невербальной) коммуникации». Знать чужой язык означает владеть приблизительной мнемотехнической схемой вербальных практик, владеть мнемотехнической схемой не идентично пониманию *конкретных*

⁴ Подробнее, см. *Вдовиченко 2008*.

коммуникативных действий, интерпретация которых нуждается в целом комплексе несловесно мыслимых параметров.

Интерпретация эллинистических иудейских и раннехристианских (иудеохристианских) сочинений, к которым прежде всего относят грекоязычные библейские тексты, до последнего времени была сферой исключительной компетенции строго языкового подхода. *Идентичность авторов и переводчиков*, за неимением иных точных сведений и данных, определялась на основе их языковой (переводческой или писательской) деятельности. При этом, несмотря на точность и объективность языковых данных, некоторые историко-культурные факты и консенсусные мнения вступали с ними в конфликт, обернувшийся, в конце концов, очевидным *диссонансом между результатами историко-культурно-религиозной интерпретации библейских текстов*, с одной стороны, и *лингвистической*, с другой.

Лингвистический (структурно-языковой в своих основаниях) подход к анализу вербальных феноменов грекоязычного Танаха (Септуагинты) и Нового Завета фактически представляет собой детальное описание *фактов языковой «ненормализованности»* этих источников. Данная процедура состоит в рассмотрении вербальных клише грекоязычного текста в сравнении с аутентичными образцами эллинистической или классической греческой прозы, с оригинальным текстом еврейской Библии или возможных семитоязычных оригиналов, на фоне постулированного процесса языковой интерференции, с однозначно предметным (структурно-грамматическим) пониманием системных «языков», вовлеченных в лингвистическую ситуацию. В результате таких исследований оказывается невозможным отрицать, что языковые клише, которыми пользуется греческий текст НЗ и LXX, представляют собой кальки и заимствования из древнееврейского или арамейского, соответственно, на грекоязычной почве эти единицы (и весь начиненный ими текст) должны быть признаны *нарушениями* аутентичного греческого строя «языка». Как следствие, в области лингвистической теории, при приложении традиционных методов описания, тексты Септуагинты и НЗ признаются *ненормализованными*, *интерференционными*, *испорченными*, *просторечными*, а их авторы «малограмотными людьми с Востока», *простецами*, далекими от классических литературных образцов, не получившими достаточного образования, которые создавали тексты на языке, которого не знали, и пр.⁵

Прямо противоположная ситуация наблюдается в области *историко-культурно-религиозного* подхода. Здесь тексты еврейского Закона и Нового Завета заведомо *не могут считаться ненормализованными*, поскольку они составляют аутентичную принадлежность вполне определенной замкнутой в себе культурно-религиозной ситуации, локализованной в традиции *грекоговорящей иудейской диаспоры*, которая

⁵ Porter 1997.

фиксирует *особую практику создания и функционирования священного текста* и, естественно, не допускала и мысли об их ненормализованности. При этом совершенно очевидно, что для участников историко-культурно-религиозной ситуации, погруженных в стихию лингвокультурной практики, ненормализованность использованных в текстах языковых клише была бы заметна гораздо более, чем любому *современному интерпретатору* (исследователю), изъятому из живой коммуникативной реальности. Однако интерпретатор, тем не менее, с готовностью констатирует факт языковой неполноценности иудейских и иудеохристианских текстов и, как следствие, недостаточной образованности и, в целом, странности и маргинальности их авторов.

Доказательные базы, возникающие при применении каждого из этих подходов, настолько очевидны, что *один подход полностью исключает другой*. Только с ослаблением системного ига «языка» и применением коммуникативной модели вербального действия, идентичность авторов с их аутентичными языковыми практиками становится возможным определить и вписать в рамки историко-культурной реальности. В упомянутом диссонансе, таким образом, «виноватой» оказывается *лингвистическая сторона*, допустившая использование неадекватной структурно-языковой модели, которая порождает теоретические объекты, непригодные для создания непротиворечивой лингвокультурной картины.

Так, при рассмотрении текстов LXX и НЗ ориентированность лингвистического рассуждения на «систему языка» непременно ведет к признанию их испорченности или неправильности (ибо в аутентичных греческих текстах значительное число употреблений LXX и НЗ не засвидетельствованы, более того, очевидно *негреческое* построение текста имеет место в заведомо «неправильном» – калькированном с еврейского – тексте Септуагинты).

Освобождаясь от структурно-языкового диктата, стоит вспомнить, что правильные языковые системы сами по себе в реальности не представлены – в реальности имеют место разного рода сообщества коммуникантов, в которых *считаются* уместными и правильными те или иные языковые модели в различных ситуациях, и на основании узуса таких сообществ вторичный наблюдатель, констатируя уместность и правильность данных языковых моделей, строит «грамматику языка» данного сообщества. Рассуждения, имеющие отношение к *языковой системе*, теряют смысл ввиду единственно оправданного *коммуникативного подхода* к языковому материалу: языковые модели нормализуются *участниками коммуникативной ситуации*. Любое современное состояние «языка» является деформацией (искажением) некоего прежнего состояния «системы» того же «языка», однако, в конечном счете, современные участники языковой ситуации признают за актуальными (в конкретных ситуациях) вербальными моделями нормализованность и правильность. Санкция

участников коммуникации получает затем отражение в описаниях «правильного» состояния «языковых систем» (словари, грамматика и др.). Ввиду этого в ситуации Септуагинты приоритетным следует признать факт того, что сообщество грекоговорящих диаспоральных иудеев признавало за текстом LXX определенный статус и видело в нем способность исполнять определенные коммуникативные функции. Другой «факт», или точнее, вопрос о том, что аутентичная греческая текстуальность в переводе Семидесяти нарушена, просто снимается как *методологически некорректный*: мнемотехническая схема «язык» создается как попытка систематизации аутентичной коммуникативной практики, в т.ч. и такой.

В самом деле, переводчики (подлинные участники языковой ситуации) оставили в недоумении исследователей, исповедующих предметные воззрения на язык: текст LXX изначально возникает как 1) «испорченный» пословной техникой перевода, но при этом 2) приемлемый для субъекта лингвистической ситуации. С одной стороны, нужно признать, что очевидно «испорченный» механизм языковой системы» не мог эффективно «работать», и тогда текст следовало бы признать не способным исполнять свои коммуникативные функции. Но, с другой стороны, несмотря на очевидную «испорченность», данный текст успешно функционировал в аутентичной среде и, более того, считался в высшей степени культурно и религиозно значимым. Таким образом, субъекты лингвистической ситуации (т.е. аутентичные участники и пользователи актуального языкового материала, чья переводческая деятельность у субъектов традиции считалась образцовой и священной – Филон, например, называл переводчиков не иначе, как «иерофантами») одобряли то, что, с точки зрения последующих вторичных интерпретаторов, представляет собой «плохой язык».

Это недоумение возникает из априорно мыслимой оппозиции: «система языка» (*явно нарушенная в переводе*) vs аутентичное восприятие языкового материала (*явно игнорирующее «правильный язык»*).

Так, если исследователь ищет в грекоязычных библейских текстах подтверждения уже существующей структурно-грамматической схемы («системы языка»), то такой способ исследования закономерно ведет к умножению фактов, изобличающих *нарушения греческой текстуальности* (или греческой «языковой системы»). Библейские источники становятся все более «испорченными», пострадавшими от семитского влияния, незнания или забвения греческих правил построения текста и т.д. Такая констатация заставляет либо *просто игнорировать вопрос о том, как возможен неправильный текст, либо истолковывать ситуацию создания текста в смысле, весьма невыгодном для его создателя* (как, например, идея Ch. Rabin'a о том, что практика пословного перевода, использованная в Септуагинте, восходит к деятельности устных бизнес-переводчиков в порту Александрии)⁶.

⁶ Rabin 1968. P. 21.

В свою очередь, если исследуются разнообразные литературные аспекты *поэтики* (и, следовательно, аутентичного восприятия) библейских текстов, то такой способ исследования обязывает полностью *игнорировать вопрос о «неправильности языка»* (в самом деле, возможно ли признать, что изучаемый литературный текст написан автором, не имевшим понятия, как правильно это делать?). Чтобы снять это недоумение и устранить противоречие («мнемотехническая схема» vs аутентичное восприятие языкового материала), необходимо, по-видимому, обратить внимание на то, что при выборе точки отсчета приоритет – несомненный и недвусмысленный – всегда следует отдавать субъекту лингвистической ситуации. Метафора «язык-инструмент», прочно обосновавшаяся в лингвистических исследованиях со времен античности, не может иметь первостепенного значения ввиду того, что структурно-грамматический язык представляет собой теоретический конструкт, создаваемый для дидактических целей, в то время как подлинники участники изучаемых лингвистических ситуаций владеют вербальными (коммуникативными) клише непосредственно, не зная никакой вторичной (возможно, еще и неточно воссозданной) мнемотехнической схемы, но зная доподлинно, как, когда, в связи с чем и пр. произносить/письменно воспроизводить те или иные языковые формулы (как «носители» знают свой родной «язык» в виде привычных ситуаций коммуникации). В подлинном знании «языка» нет грамматических схем и осознанных правил, которые, тем не менее, навязывает теории метафора «язык-инструмент» – и затем заслоняет собой естественный коммуникативный процесс, не давая исследователю видеть подлинную лингвокультурную реальность.

В действительности любой интерпретатор пробивается к смыслу, используя вербальный материал как систему разметок. Понимаются в тождестве не слова, а многофакторные коммуникативные действия. В конечном счете, «языковой» факт таков, каким он представляется аутентичному субъекту языковой ситуации, оценивающему в перспективе смыслообразования обширный комплекс данных, а не место данной единицы в словесной системе. В языковом факте не может быть собственного («системного») значения, которое было бы независимым от данной ситуации коммуникации, мыслимой непосредственным ее участником.

Для более адекватного представления НЗ текстов как лингвистической практики можно воспользоваться простой аналогией, позволяющей наблюдать, что естественная лингвистическая ситуация в культурном социуме намного более многофакторна, чем та, что предлагается объяснительными концепциями с использованием структурно-грамматического «языка». Речь идет о *современной русскоязычной ситуации*, очевидной и неопосредованной, которую *mutatis mutandis* можно уподобить эллинистической и которая обнаруживает вполне определенные черты для убедительной иллюстрации коммуникативной концепции НЗ данных и определенного статуса авторов текстов.

Непротиворечиво мыслить статус текстов НЗ корпуса можно в том случае, если считать их представителями пророческих письменных текстов грекоговорящей иудейской диаспоры, которые по многим признакам подобны образцам современной литургической практики РПЦ: *тексты новозаветного корпуса создавались подобно тому, как в настоящее время создаются новые тексты для православного богослужения* (например, тропарь Новомученикам и исповедникам российским: «Днесь радостно ликует Церковь Русская, / яко мати чада, прославляющи новомученики и исповедники своя...»). Или Кондак Соловецким Новомученикам и Исповедникам: «Христовою любовию распяеми, мученицы, / и Того крест на рамо взявше, / понесли есте, божественне претерпевающе лютость мук...»).

Создавая эти и подобные им произведения, их современные авторы ориентируются на авторитетный образец, т.е. на литургический библейский текст Славянской Библии (подобно тому как НЗ авторы видели перед собой в качестве образца текст Септуагинты); русскоязычные авторы используют церковнославянские вербальные клише, которые не используются в повседневном общении (подобно тому как НЗ авторы использовали при написании традиционного нарратива – в случае Евангелий – септуагинтальные клише, отличные от обыденных); при этом авторы современных церковнославянских текстов пишут не для носителей обобщенного «русского языка», а для сообщества верующих, в котором приемлема и востребована данная лингвистическая практика (подобно тому как НЗ авторы обращались не к обобщенному греческому читателю, а к традиционной синагогальной аудитории); при этом следует отметить, что родным (разговорным, повседневным) «языком» современных авторов, очевидно, является не церковнославянский, а русский, на котором говорят их церковные и нецерковные современники-компатриоты (подобно тому как «родным языком» НЗ авторов был тот вариант койнэ, или территориальный диалект, на котором говорило их окружение, в большинстве случаев также и языческое).

На основании текста, созданного современным русскоязычным автором по-церковнославянски, нельзя утверждать, что автор не знаком с фактами современной русскоязычной литературы. По крайней мере, такой автор явно не преследовал цель стать участником современного русскоязычного литературного процесса, но исполнял другую задачу (подобно тому как НЗ автор, создавая свой «не вполне греческий» текст, не свидетельствовал тем самым о своем незнании классических и современных для него греческих авторов; он «вписывал» свое сочинение в иную традицию, оснащая текст характерными для нее формальными и содержательными признаками). Ясно также и то, что современный автор церковнославянского текста ожидал адекватного отношения аудитории к своей «необычной» лингвистической деятельности, поскольку

такое отношение предполагается самой литургической практикой в ее традиционных формах (подобно тому как НЗ автор обращался своим сочинением к участникам синагогальных собраний, имеющих особые, сформированные Септуагинтой, понятия о пророческом тексте).

Интересно заметить и то, что в церковнославянских текстах, созданных современным русскоязычным автором, кропотливый исследователь при желании может обнаружить значительное число греческих и арамейских интерференций (как в сфере синтаксиса, так и в сфере лексики), т.е. мнимых следов «билингвального опыта» автора. Однако столь же очевидно и то, что для употребления в тексте таких «грецизмов» и «арамеизмов», т.е. «ошибок в церковнославянском», автору вовсе не потребовалось знание греческого и арамейского языков.

Таблица. Сопоставление традиционной практики создания литургических текстов в грекоговорящих иудейских общинах (I–II вв. н. э.) и современных общинах РПЦ

Критерии сопоставления		<i>Синагогальная практика создания текстов иудейской грекоговорящей диаспоры, I-2 вв. по Р.Х.</i>	<i>Современная практика создания текстов для литургии РПЦ</i>
1.	<i>Целевая аудитория</i>	Грекоговорящие иудейские общины диаспоры	Русскоговорящие православные общины
2.	<i>Традиция</i>	Синагогальная грекоязычная; чтение и изучение Закона	Церковная русскоязычная; православное богослужение
3.	<i>Лингвистическая периферия создаваемых текстов</i>	Греческая (языческая) литературная традиция; язык повседневного общения	Современная русскоязычная литература; язык повседневного общения
4.	<i>Источник вербальных клише</i>	Септуагинта (как парадигма для создания пророческого текста)	Церковнославянский текст Библии (как парадигма для создания литургического текста)
5.	<i>Древность и авторитет лингвистической практики</i>	3-5 столетий к моменту создания новозаветных текстов	10-11 столетий на настоящий момент
6.	<i>«Родной язык» авторов</i>	Греческий (возможно, арамейский)	Русский

7.	<i>Знакомство авторов с периферийной литературой</i>	Знание современной литературы (и «грамотность» в эллинском смысле) вероятны, но данный факт в принципе не может быть установлен по языковым клише, используемым в тексте	Знание современной литературы вероятно, но данный факт в принципе не может быть установлен по языковому клише, используемым в создаваемых текстах
8.	<i>Знакомство авторов с языком повседневного общения</i>	Знание в совершенстве языка повседневного общения	Знание в совершенстве языка повседневного общения
9.	<i>Отношение текста к лингвистическим фактам других языковых страт</i>	Отличия от других языковых страт намеренно культивируются. Особенно значимо отличать эти тексты от языческой литературной традиции и языка повседневного общения.	Отличия от других языковых страт намеренно культивируются. Особенно значимо отличать эти тексты от светской литературной традиции и языка повседневного общения.
10.	<i>Образованность авторов</i>	Авторы принадлежат к наиболее образованным представителям общины	Авторы принадлежат к наиболее образованным представителям общины
11.	<i>Статус текста в современной лингвистической ситуации</i>	Эпический, архаизирующий, традиционный, возвышенный, изысканный из прочих современных лингвистических практик	Эпический, архаизирующий, традиционный, возвышенный, изысканный из прочих современных лингвистических практик

В отличие от схематизма и неповоротливости концепции «языка» (например, языка «койнэ» или «ионийско-аттического диалекта»), заставляющей исследователей, ради сохранения правоты схемы, искажать подлинные параметры лингвокультурной ситуации и, в частности, – роль и содержание деятельности самих новозаветных авторов, идея *литургических письменных текстов* вводит нюансированную картину, гораздо более соответствующую *многоуровневой коммуникативной реальности* культурного социума. Так, автор, рассматриваемый в струк-

турно-грамматической модели как плохо владеющий целевым языком «восточный» писатель, получает, наконец, возможность оставаться высокообразованным, квалифицированным знатоком своего дела, проявившим свой писательский талант и стиль. Механистичность действий автора, в котором, согласно структурно-грамматической интерпретации, действует «язык», сменяется свободой и сознательностью, присущими индивидуальной коммуникативной деятельности.

Если для осмысления идентичности в коллективах эллинистического мира используются языковые инструменты, то вводящими в заблуждение формулами выступают «язык койнэ», «просторечный (разговорный, нелитературный) язык», «арамейское языковое сознание автора, сказавшееся в фактах интерференции (т.е. в пословном калькировании семитских конструкций)», «язык Септуагинты как фактор семитизации греческого текста», «семитоязычные авторы грекоязычного текста» и пр. В результате, при использовании языкового критерия, возникает суждение о малограмотности и семитоязычности авторов грекоязычных библейских текстов (что, якобы, является одним из наиболее значимых атрибутов их идентичности).

Ошибочность такого «языкового» подхода может быть обнаружена построением аналогии с непосредственно наблюдаемым, живым материалом современного русскоязычного пространства, в котором какая-либо идентичность (или ее отсутствие) не может быть напрямую связана с языковым критерием. Коммуникативные клише, используемые членами различных коллективов, не могут составлять слитого с коммуникантом атрибута его личности (что, тем не менее, постулируется в концепции «языка»). Так, современные русскоязычные практики в попытках исследователей обрести языковое тождество распадаются на бесчисленные «варианты языка», каждый из которых вводит новую группу идентичности, вплоть до группы из одного члена: «русский язык» молодежи, хакеров, Достоевского, церковной проповеди, социальных низов, SMS-сообщений, рекламы, поэзии, средств массовой информации, индивидуального говорящего и пр. Невозможно утверждать, что языковой критерий содержит специфические характеристики авторов-«носителей» такой идентичности.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Porter S.E. The Greek Language of the New Testament, in: Handbook to Exegesis of the New Testament. Ser. «New Testament Tools and Studies», ed. by B.M. Metzger & B.D. Ehrman. Leiden-NY-Kohln, 1997. P. 99-130.
- Rabin Ch. The Translation Process and the Character of the Septuagint // Textus 6 (1968). Аристотель. Сочинения в 4-х тт. М.: «Мысль», 1978. т. 2.
- Вдовиченко А.В. Расставание с «языком». Критическая ретроспектива лингвистического знания. М.: Издательство ПСТГУ, 2008.
- Хайдеггер М. Письма о гуманизме / Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М., 1993.

REFERENCES

- Porter S.E. The Greek Language of the New Testament, in: Handbook to Exegesis of the New Testament. Ser. «New Testament Tools and Studies», ed. by B.M. Metzger & B.D. Ehrman. Leiden-NY-Kohln, 1997. P. 99-130.
- Rabin Ch. The Translation Process and the Character of the Septuagint // Textus 6 (1968). Aristotel'. Sochineniya v 4-kh tt. M.: «Mysl'», 1978. t. 2.
- Vdovichenko A.V. Rasstavanie s «yazykom». Kriticheskaya retrospektiva lingvisticheskogo znaniya. M.: Izdatel'stvo PSTGU, 2008.
- Khaidegger M. Pis'ma o gumanizme / Khaidegger M. Vremya i bytie: stat'i i vystupleniya. M., 1993.

***Вдовиченко Андрей Викторович**, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора теоретического языкознания Института языкознания РАН, доцент кафедры теории и истории языка ПСТГУ; anlvdo@mail.ru*

Myths of the unity of language and linguistic identity: Early Christianity and the “Russian world”

In the article, the concept of “language” is viewed as an instrument of shaping identity. The author argues that the concept of “language” is not effective enough for he modeling the process of natural speaking (writing), and cannot play the dominating role in the forming the identity, which is understood as a unity recognized by a certain community. The frame idea, capable to grasp tendencies of reconsideration of “language” in descriptive schemes, is the communication and the personal communicative act (action). For the verbal facts (natural speaking/writing), these concepts set the unique system in which verbal data can be correctly interpreted and described. Towards the identity the reconsideration of the concept of “language” (recognition of its mnemotechnical, utilitarian, but not ontologic value), leads to devaluation of a language factor. Interpretation of the Hellenistic Judaic and early Christian writings (first of all, Greek bible texts of the Septuaginta and the NT), was until recently the sphere of exclusive competence of “language” approach. Identity of authors and translators, for the lack of other exact data, was defined on the basis of their language (translation or literary) activity. As a result, authors and translators are recognized as semiliterate, poorly educated people from the East writing in the language which they did not know. To understand the status of these texts and authors’ and translators’ language identity better, the article offers an analogy to modern Russian-speaking space. Like modern Church Slavonic texts, created in traditional forms, the Septuaginta and NT texts were addressed to traditional Jewish (Judeo-Christian) community and were perceived as epic, archaizing, traditional, sublime, isolated from other modern linguistic practices. Both this status of these texts, and the corresponding identity of their authors become possible in the communicative interpretation of the natural verbal facts.

Keywords: language, identity factor, communicative action, texts of Septuaginta and New Testament USA, national identity, creed, immigration, assimilation, multiculturalism, challenge, transformation.

***Vdovichenko Andrey**, Dr.Sc. (Philology), leading researcher, Sector of Theoretical Linguistics, Institute of Linguistics, Russian Academy of Science, lecturer of the Department of Theory and History of Language, Orthodox St Tikhon University for Humanities; anlvdo@mail.ru*